



Не знаю, как это бывает вообще и у других людей, случается ли такое с каждым... Не знаю, потому что я живу свою, и только свою, жизнь, но со мной это было. Я отчётливо, во всех подробностях помню событие, которое определило суть, содержание и само течение всей моей жизни. Не знаю и не могу знать, чем бы я жил и что делал, не случись того события со мной. Не знаю, поскольку оно случилось. Мне неизвестно, пришёл бы я к театру, вышел бы на сцену, стал бы делать спектакль, писать пьесы, а потом и литературу без того вполне случайного, неожиданного и теперь кажущегося магическим события. СО БЫТИЕ... Нет более точного слова, более верного названия для моей первой настоящей встречи с театром.

Как много раз я отчаянно проклинал и так же благословлял тот день, когда произошла та встреча! Мне кажется, что я вспоминаю её каждый день, как бы пафосно и театрально это ни звучало. «Бедный я, бедный, несчастный и одинокий, запутавшийся и уставший... За что мне это?! Было столько ясных и радостных путей... А я шагнул на этот... на путь тоски и одиночества», — говорю и говорю я себе в минуты, часы, дни, а то и месяцы непонимания и ощущения тупика

в том деле, которым живу и кроме которого, в сущности, давно ничего не умею. «Зачем мне тогда подвернулся тот злосчастный билет? Зачем он мне подвернулся? Почему его не купил кто-то другой?» — повторяю и повторяю я в отчаянии.

«О счастливец, как же тебе повезло в жизни, что ты так рано, без глупых метаний и ошибок, ничего сам не выбирая, не блуждая в сомнениях, совершенно случайно оказался на чудесном пути, по сравнению с которым все остальные — просто суета и скучные тропинки. Какое счастье, что тогда на тот самый спектакль остался один-единственный последний билет и его никто не успел купить до тебя», — радостно убеждаю я себя в моменты ясности и отчаянной веры в свои замыслы и силы.

То, как я встретился с театром, похоже на то, как попал в театр Буратино, с той лишь разницей, что Буратино угодил в театр в день своего появления на свет. Ему повезло или не повезло сразу. Мне же повезло или не повезло за месяц до семнадцатилетия.

## ГЛАВА 1

### ПОСЛЕДНИЕ КАНИКУЛЫ

То самое изменившее всю мою жизнь событие произошло в мои последние школьные каникулы. Я тогда не знал и не мог знать, что они окажутся самыми последними настоящими каникулами в моей жизни. Я не придумал им никакого значения. Каникулы себе и каникулы. Зимние. Короткие. Я от них ничего особенного не ждал. А ещё я тогда не знал, что всё самое значительное и сильное в жизни происходит тогда, когда ты ничего не ждёшь и ни к чему особенному не готовишься.

В последнем, десятом, классе учиться совсем не хотелось. Впереди маячили страшные выпускные экзамены, но думать о них было жутко, а готовиться к ним было непонятно как. Школьная жизнь казалась бесконечной, потому что другая была неведома. Иную жизнь невозможно было представить. Вот я и не представлял её, обещая себе, что начну готовиться к этой неведомой жизни и к экзаменам после Нового года и после зимних каникул.

В первую половину последнего школьного года у меня, да и у всех одноклассников, неожиданно обнаружилось довольно много свободного времени. Все мы уже хорошо умели исполнять свои школьные обязанности и осуществлять школьную жизнь. В этом процессе сугубо учёбе отводилось меньше всего сил и времени. Мы хорошо знали учителей, они знали нас, всё всем про всех было понятно. Главное было не допустить какой-нибудь значительной оплошности и не нарушить сложившийся уклад. Учителя, конечно, нас пугали экзаменами и возможностью сломать себе всю жизнь ещё в школе. Мы, как могли, боялись, да и то не все. Я был из числа тех, кто всё же побаивался, поскольку мне было не всё равно, что будет в моём аттестате, но в то же время я не был тем определённым отличником, который не вызывал беспокойство учителей. Я и учителя опасались друг друга. Я был из той неприятной категории учащихся, про которых говорили на родительских собраниях: «Если бы он только постарался, если бы взялся!..»

А я не хотел браться за то, за что не брался в прежние школьные годы. Алгебра, геометрия, физика. Для меня эти дисциплины были бездонны и темны. А вот с историей, литературой, географией всё было понятно, а стало быть, и заниматься этими предметами уже можно было только для видимости и для успокоения учителей.

Я много читал. Очень много. Наверное, больше всех в классе. И больше всех своих знакомых. Сколько же тогда



было прочитано книг, которые были мне понятны едва, а то и вовсе не понятны! Преждевременные были книги. Но чтение было процессом упоительным и запойным. А ещё чтение давало мне возможность собой гордиться и считать себя более передовым и значительным, чем мои одноклассники и другие сверстники, которые составляли моё тогдашнее общение.

Так уж получилось, что в школьные годы я не попробовал алкоголя. Разве что разок, да и то, что называется, понюхал. Я не бегал на большой перемене с другими за школу покурить. У меня совершенно не клеились отношения с девочками. Ну совсем.

Алкоголь и курение воспринимались тогда мною как что-то совершенно недопустимое. Таково было воспитание. Я даже представить себе не мог ситуации, чтобы мама унюхала от меня запах выпивки или сигарет. Сами мысли об опьянении пугали, как мысли о некоей страшной болезни. А курение страшило, как болото со смертельной трясиной, в которую стоит сделать только шаг — и засосёт, не вырвешься.

Конечно же в классе была группа тех ребят и девочек, которые, кстати сказать, учились хорошо и вообще были законодателями всех школьных процессов, однако они и курили, и выпивали, и даже устраивали некие вечеринки у кого-то на квартирах и дачах. Вечеринки происходили с выпивкой и музыкой. Понятное дело, что разговоров об этом было больше, чем сути. Но это случалось у моих одноклассников, а у меня нет. Я не был приглашён в тот запретный мир, где происходило то, чего нестерпимо хотелось, но было для меня категорически невозможно. Целомудренное было время и общество!

Вот я читал, читал, читал. И убеждал себя, что чтение — это полезно для развития и будущей жизни, а безделье с девочками и пьянкой — это скотство и деградация.

Удивительно! Тогда очень многое оценивалось с точки зрения пользы и практического смысла. Со смыслом жизни всё

вообще было в порядке. Жизнь тогда имела определённый смысл, и он не подвергался сомнению.

Короче говоря, я в школьной своей жизни, в своём классе, был на особом положении. Я выказывал пренебрежение любой праздности, не упускал случая высмеять глупости, которыми в основном грешили девочки, демонстрировал пренебрежение авторитетам и общему мнению, всячески оригинальничал, при любой возможности старался блеснуть знаниями, начитанностью и весьма отдельными от всех интересами. При этом я совершенно искренне удивлялся, почему в классе меня не любят, часто избегают и периодически хотят бить. И почему девочки никак не заинтересуются мною, таким необычным, интересным и многообещающим.

Драться приходилось. Драк я не избегал. Мучился сомнениями, считая драку дикостью и безумием, но не уступал. Даже был излишне задирист, полагая, что стыдно бояться и пасовать перед теми, кто не читал и не читает книг, а также не стремится к развитию. Я ни в коем случае не хотел числиться заумным тюфяком или глубокомысленным рохлей. Думаю, меня считали спесивым чудаком и придурком, но в конце концов подначивать, «брат на слабо» перестали и оставили в покое. То есть у меня было много времени и одиночества. Но чудесное свойство юности не давало мне унывать.

А ещё я слушал музыку! Рок. Это было самым прекрасным переживанием. Рок-музыка! В ней была моя свобода и настоящая страсть, трепет души, преданность и любовь.

Через рок-музыку у меня появилось общение вне класса и моей школы. Я обзавёлся взрослыми знакомыми, а вместе с ними у меня появились и разговоры, наполненные только музыкой. Музыка была моей особой гордостью, а знание её — визитной карточкой и рекомендацией в сообщество людей, которые существовали и жили высшими смыслами.

Тогда я ещё с упоением смотрел кино. Кино настоящее, кино, которое можно было увидеть, только посещая кино клуб или специальные показы. Там собиралось общество людей, которые днём жили как все — были инженерами, врачами, преподавателями, аспирантами или форменными бездельниками, но при этом знали, где и когда можно смотреть хорошее и отдельное от того, что шло в больших кинотеатрах, кино.

Правда, хорошего кино было мало. Закрытые показы и кино клуб случались редко. Эпоха возможности смотреть кино самостоятельно и у себя дома ещё не наступила.

Всё, что только было доступно в области культурной и художественной жизни в городе Кемерово в пору моей юности, было мне известно и мною исследовано.

Живопись вызывала у меня любопытство, но заметных и интересных живописных событий в городе не случалось. Рассматривать же портреты шахтёров, сталеваров, любоваться индустриальными пейзажами или унылыми зарисовками сибирской природы на отчётных выставках местного отделения Союза художников не хотелось совсем. Это теперь я люблю эти картины и нахожу много радости в их унынии. Тогда же меня от них тошнило. Так что живопись в моём понимании находилась где-то там, в столице или Эрмитаже.

На самом же деле в Кемерово живопись существовала для меня тогда только в редких и ценных больших книгах-альбомах. Книг таких было мало. Ради таких книг можно было даже ходить вместе с родителями к кому-то в гости и терпеть скуку, если в том доме, куда мы шли, можно было взять и посмотреть такие книги. И всё же берусь утверждать, что какая-то живопись для меня в том моём возрасте существовала.

Театра же в той моей жизни не было совершенно. Про оперу и балет я даже не говорю, они отсутствовали полностью. Дело даже не в том, что в Кемерово не было и нет театра оперы



и балета, а в том, что эти виды человеческой жизнедеятельности вообще были для меня чем-то в высочайшей степени странным. Я, разумеется, знал, что в мире существуют опера и балет. Я видел по телевизору какие-то фрагменты опер или выступления оперных певцов с оркестром. Это были странные, в основном тучные люди, которые противоестественно двигались и так же противоестественно пропевали слова. Я даже не пытался вслушаться и попытаться понять, нравится мне это или нет. Это просто было не для меня, и всё. Балет вызывал подобное к себе отношение. Он понимался мною как что-то механическое, сложное и как нечто вполне научное, в чём необходимо серьёзно разбираться, как, например, в биохимии или термодинамике, а без глубоких и очень специальных знаний ничего понять невозможно. Помимо всего прочего я не видел, не был знаком и не встречал в той своей жизни ни одного человека, который любил оперу и балет и мог бы хоть что-нибудь об этом сказать.

А значит, опера и балет находились за пределами мира, которым я жил. В моём мире по отношению к опере и балету царило общее почтительное безразличие.

Драматический театр не существовал для меня иначе.

В здании областного театра я бывал неоднократно, видел спектакли, знал людей, которые театр этот любили, и даже у моего отца была одна коллега, чей муж был актёром нашего театра. Актёром ведущим, игравшим главные роли. Его фотография висела в фойе театра, пару раз мне родители показывали его фото в газете, и однажды, прогуливаясь по центру города с родителями, я видел его просто так, среди бела дня, выходящим из магазина.

То есть театр в отличие от оперы и балета был вполне реальным и земным. Здание его красиво стояло и стоит в самом центре города, рядом с ним был и есть единственный в городе настоящий фонтан, остановка возле фонтана так и называ-



лась «Драмтеатр». Это название вполне буднично произносили вожатые троллейбусов, кондукторы и водители автобусов. Возле театра менялись афиши, периодически на фасаде появлялась яркая надпись «Премьера». Мне не раз доводилось видеть много людей, входящих или выходящих из театра. Это были люди, которые жили со мной в одном городе. Я и сам, правда не по своей воле, а по воле учительницы литературы и дирекции школы посещал театр. Короче говоря, театр был реальным, но ненужным, по крайней мере мне с моими книгами, кино и рок-музыкой.

Что я видел в театре до моих последних в жизни каникул, до подлинной встречи с театром как с искусством? Я видел новогодние сказки, которым, наверное, радовался, как и все остальные дети. Но это осталось где-то в дошкольном времени. В младших классах нас тоже на что-то водили в театр. Но тогда буфет, беготня по гулкому фойе и по мраморным лестницам были интереснее самих спектаклей. Очень интересовал и вызывал желание маленький театральный бинокль, но нам их не давали.

Из всех спектаклей раннего детства запомнился только «Кот в сапогах». Помню, что было смешно, но главное и удивительное в том спектакле было то, как актёр, исполнявший роль кота, выпучивал глаза. Это было поразительно, и я догадывался, что абы кто, не работающий в театре и не актёр, так выпучить глаза не сможет. Такому надо было учиться.

Как выяснилось позже, актёр, исполнявший роль кота, пучил глаза во всех своих ролях совсем даже не сказочных.

Классе в шестом, когда мы начали проходить по литературе отечественную классику, нас стали водить в театр довольно часто. Водили всем классом принудительно на спектакли по тем произведениям, которые входили в школьную программу. На тех спектаклях зал заполнялся в основном учениками разных возрастов из городских школ. Иногда мы смотрели поста-

новки по тем пьесам, которые ещё не проходили и не читали. Нам показывали их, что называется, впрок. Такие спектакли мне лично были вообще непонятны.

Уверен, что актёры ненавидели дни спектаклей для школьников. То, какие безобразия мы устраивали в зале, особенно к концу очередного акта пьесы, было, конечно, страшной мукой для работающих на сцене людей. Мы с самого начала спектакля ёрзали, извивались в неудобных креслах, мучились от нежелания сидеть на месте и соблюдать тишину, шелестели программками, фантиками и вообще всем, чем только можно было шелестеть. Кто-то подолгу доедал купленное в буфете. Театральные бабушки на нас шикали, шипели, одёргивали, но они нам были не указ. Учителя тоже строжились, мы их опасались, так как посещение театра приравнивалось к уроку. Но жажда жизни брала верх. Мы быстро уставали от сидения на месте, начинали дёргать и щекотать девочек, добиваясь повизгивания или выкриков типа: «Галина Фёдоровна, а чего Коновалов...» К какому-то моменту спектакля многие из нас из программки делали трубочки. А билеты нами сжёвывались и улетали в ту сторону, где сидели ученики другой школы. Периодически в темноте зала возникала возня и борьба. Драки тоже случались, но редко. А к окончанию акта начинался массовый исход в туалет. Возвращались не все. Уходы и возвращения совершались громко. Чацкий же, Кабаниха, Онегин, Хлестаков и другие персонажи жили отдельной, своей и неинтересной нам жизнью, лица их были отрешёнными и несчастными.

Главное, что запомнилось мне в театре того моего времени, то есть в возрасте одиннадцати-тринадцати лет, — это абсолютно несчастные лица актёров. Театр же в целом стал восприниматься через несчастье, через тоскливое выражение лиц всех персонажей отечественного классического театрального репертуара.

Осенью последнего школьного года я побывал в театре три раза. Два раза тоже с классом и один раз самостоятельно. Старшеклассников уже трудно было загнать в театр, и поэтому ходили те, чьё домашнее воспитание обязывало следовать школьным требованиям.

Той осенью во время первого после начала учебного года посещения театра я оказался, можно сказать, впервые среди театральной публики, которая пришла по своей воле и хотела видеть спектакль. Эта публика меня заинтересовала.

Люди в театральном фойе, у гардероба, в буфете и даже у туалетов вели себя иначе, чем где-либо вообще. Они неспешно ходили, говорили негромко, не толкались, многие здоровались со многими. Театральные бабушки вдруг оказались любезны, улыбки, охотно говорили с теми, кто покупал программки, что-то объясняли. В гардеробе, о чудо, мне предложили бинокль, который, к сожалению, был мне уже неинтересен.

Все в театре были более или менее нарядны и торжественны. Некоторые даже слишком нарядны. И все были слегка печальны. Все были не такими, как там, за пределами театра, как на улице, в магазине, в транспорте, и даже не такими, как на сеансе в кино. В театре люди были печальны особым образом. Я увидел их лица и догадался, что они именно за этой печалью и пришли. Однако я пришёл в театр не за этим. Меня привели школьные обстоятельства. Я не хотел печалиться, но понимал, что вести себя так, как я привык, среди общей торжественной печали нельзя. Я почувствовал тогда себя чужим. И мне стало любопытно.

Билеты в школе нам выдали на балкон и очень далеко от сцены. Но с этого балкона за минуту до начала спектакля я разглядел несколько свободных мест внизу в первых рядах партера. И неожиданно для самого себя помчался и занял одно из них, буквально за мгновение до того, как занавес пополз в стороны. В тот вечер давали спектакль «На дне» Горького.



Тогда я впервые смотрел спектакль нашего драмтеатра всерьёз и вне окружения одноклассников.

Спектакль «На дне» мне не понравился с самого начала. Должен признаться, что пьеса Горького мне нравилась. Даже очень. Но я себе в этом не признавался. И тем более не признавался одноклассникам, а также учительнице литературы. Всё, что входило в школьную программу, следовало презирать, высмеивать и по возможности игнорировать. Всё! От Деда Мазая с Муму, замученных некрасовских мужиков и вплоть до Достоевского.

Когда открылся занавес, я увидел какое-то нагромождение деревянных лестниц, многоярусных коек, переплетения верёвок и свисающих тканей. Это следовало понимать как ночлежку, в которой всё у Горького в пьесе и происходит. И всё это было некрасивым, очевидно, каким-то хлипким, шатким, скрипучим и ужасно ненастоящим.

Мне не нравилось в спектакле всё без исключения. Я не понимал и не хотел понимать, почему актёры бегают, когда бегать не надо, почему они всё время так громко говорят, почти орут, почему так ужасно топают и машут руками. Костюмы на артистах были под стать декорациям. Грим тоже. Всё, что я видел на сцене, состояло из фальши и неправды.

Невозможно было поверить в то, что кто-то мог пылать страстью к хозяйке ночлежки в исполнении единственной народной артистки нашего театра. Васька Пепел был явно немолодым человеком, очень выдавал актёра свистящий, сильно прокуренный голос и одышка. Особенно забавным было то, что Сатина играл актёр, запомнившийся мне по роли Кота в сапогах. Сатин и кот пучили глаза одинаково. Даже вода, которую персонажи пили и изображали, что пьют водку, была какая-то фальшивая. Эта вода играла роль водки так же плохо, как актёры, её пившие.

Однако в зале стояла благоговеяная тишина с редкими покашливаниями. Публика иногда одобрительно вздыхала,

посмеивалась, а то и в голос смеялась. Единодушно. Один раз за первый акт зал заплодировал особенно громкому, надрывному и длинному монологу.

С какого-то момента мне стали интереснее зрители, чем происходящее на сцене, и я начал вертеть головой. Это случилось во втором акте, когда аплодисменты зазвучали чаще. Я видел блестящие глаза, неотрывно глядящие на актёров, видел у некоторых дам прижатые к груди, собранные в узел руки, видел подлинное внимание. Людям нравилось! Кто-то пребывал в полном восторге. Я ощутил страшное одиночество и даже страх. Мне стало немного легче, когда крупный мужчина, сидевший впереди меня, громко всхрипнул и тут же получил сильный толчок локтём от своей жены, которая ещё и прошипела ему на ухо что-то негодующее.

По окончании спектакля публика разразилась аплодисментами, которые перешли в стоячую овацию. Актёры кланялись по одному и вместе, уходили и снова возвращались. Особенно громко и мощно хлопали народной артистке и бывшему Коту в сапогах, а они, в свою очередь, уже кланяясь, продолжали исполнять роль, только это была роль счастливого, но измощённого человека, который отдал все силы без остатка спектаклю и зрителю, но всё же ещё может улыбаться и кланяться. Эта роль им удавалась много лучше, чем то, что они играли в спектакле, но тоже с явным перебором.

Люди выходили со спектакля благодарные. Самые нарядные женщины утирали слёзы. На выходе из зала в фойе стояла театральная бабушка, которая перед началом спектакля продавала программки. Она гордо улыбалась, будто сама сыграла все роли, и заглядывала выходящим в глаза, питаясь их восторгом и своей причастностью к произошедшему. Одной особо нарядной даме она сказала: «Ну как вам сегодня наша Людочка, а?!» Дама только повертела головой, пожала плечами и развела ручками в знак полнейшего и безусловного согласия.

В гардеробе в очереди я слышал обрывки обсуждений. Люди смаковали детали. Говорили негромко.

Вытекали зрители из театра притихшие и, только вдохнув свежего воздуха, городского шума, начинали говорить в полный голос.

Я был потрясён и сокрушительно озадачен. Чем? Да исключительно тем, что я никому в театре не поверил. Ни актёрам на сцене, ни тем более зрителям и их восторгу. Я видел, видел отчётливо, что одни сыграли пьесу, другие сыграли восторг. Обе стороны остались довольны друг другом. А я не мог понять, зачем это было всем нужно. Мне стало не по себе от того, что я один видел происходившее в театре как какой-то таинственный и безумный сговор или как массовое помешательство.

Я не верил и не мог поверить, что то, что происходило на сцене, может нравиться. Это не могло нравиться никому! Если бы я вышел с оперы или с балета в толпе восторженных знатоков, я, наверное, верил бы восторгу других, зная, что сам ничего не смыслю в увиденном и услышанном, как не понимаю и не могу понять лекцию по микробиологии. В том же, что я видел на сцене Кемеровского областного театра, нечего было понимать. Всё там было сделано и исполнено плохо, глупо и бессмысленно.

Когда я встречался с тем, что люди слушают плохую музыку, я возмущался, но верил людям. Девочки слушали в основном всякую дрянь, дедушка любил цыганские романсы в исполнении артистов театра «Ромэн», друзья родителей и сами родители могли не без удовольствия слушать шлягеры отечественных эстрадных исполнителей, любимый дядя был в восторге от блатных песен, сам был не прочь взять гитару и что-то ужасное исполнить к восторгу всех родственников. Мне всё это не нравилось категорически, но я верил, что это может нравиться. Верил! В театре я не поверил никому. Не поверил



людям, которые аплодировали стоя. Не поверил тем, кто на сцене делал свою работу с видимым удовольствием. Не поверил, потому что такое не должно было нравиться никому.

Я ехал автобусом домой после спектакля в очень тяжёлом и подавленном состоянии.

Когда меня не понимали одноклассники — это было одно. А тут я сам не понимал и не верил сотням взрослых людей.

Мне не удалось справиться с навалившимся на меня в театре непониманием ни на следующий день, ни через неделю. В то время и в том возрасте я ещё не страдал сомнениями в себе, а только изредка мучился ими. Но тут сомнения разыгрались. А вдруг что-то не так со мной? Может, я был не в том настроении? Может, случился не мой день? Не может быть, чтобы много людей так жестоко ошибались или были введены в заблуждение. Не опоили же их чем-то специальным перед спектаклем. Может быть, дело всё же во мне? Я много думал об этом. Театр не давал мне покоя. Когда доводилось мимо театра проходить или проезжать, многие чувства вскипали во мне, чувства самые разные — от тревоги до раздражения и гнева.

Окончательно утомившись этими переживаниями, я решил проверить себя и театр ещё раз. Кстати, на фасаде драмтеатра появилась новая афиша. Ожидалась большая премьера. И я впервые в жизни один, самостоятельно, поехал в центр города в театр и заранее купил билет.

На самый первый премьерный спектакль все билеты были проданы. На второй и третий в кассе мне предложили только дальние и плохие места. Пришлось взять билет на четвёртый премьерный вечер. Место мне досталось боковое, но в шестом ряду партера. Я обрадовался. С этого места можно было лучше разглядеть зрительный зал.

В кассовом зале висели фотографии сцен из грядущей премьеры. На многих был муж папиной знакомой по работе.

На фото он был с усами, с кудрявым чубом и в фуражке. В жизни же он усов не носил и был скорее лысоват. Так что я не сразу его узнал.

Над кассами, на всех афишах и на фасаде театра большими буквами значилось следующее: «Михаил Шолохов» и уже просто огромными буквами: «Тихий Дон». Что-то было написано ниже буквами поменьше. Но тогда театральные режиссёры и те, кто делает декорации, меня не интересовали.

Родители здорово удивились, когда узнали, что я собрался в театр по собственной инициативе и совершенно один. Удивились, но отнеслись вполне одобрительно. Всё же театр воспринимался в обществе как дело серьёзное, не вредное, а скорее наоборот. Беспокойство вызвало только то, что спектакль «Тихий Дон» обещал быть весьма продолжительным и мне придётся возвращаться поздно на окраину небезопасного города.

Помню, что волновался, собираясь на спектакль. Оделся нарядно и серьёзно. Сам погладил брюки.

«Тихий Дон» мне не понравился ни больше ни меньше, а точно так же, как «На дне». Бегали, кричали, размахивали руками, топали. Муж отцовской коллеги оказался громче остальных.

В зрительном зале царил то же благодушие и внимание, что и прежде. Мне скоро стало скучно, тоскливо и совсем уж одиноко. Некоторое время я пытался узнавать актёров, которые играли в «На дне». Это было непросто и азартно. У всех актёров в «Тихом Доне» были усы или усы и бороды, костюмы тоже сильно отличались от «На дне». Кота в сапогах в этом спектакле не оказалось. С актрисами было много проще. Особенно с народной артисткой. Однако я довольно быстро всех опознал, и делать мне больше было нечего.

Тогда я впал в какой-то мучительный анабиоз, из которого вышел из-за того, что из моей руки выскользнул гардеробный

номерок, который я вертел в руках, а потом про него забыл. Номерок звонко упал на пол и ещё пару раз брякнул. Мне показалось, что все казаки на сцене и все зрители в зале услышали этот звук. Женщина, сидевшая впереди, оглянулась, посмотрела на меня и осуждающе цокнула языком. Кто-то скосился в мою сторону. В этих взглядах отчётливо читалось слово — «чужой». Я поразился тому, что люди моментально почувствовали и поняли, у кого именно упало что-то, кто нарушил священную тишину. Это было удивительно ещё и потому, что я же не шелохнулся, не полез за номерком. Я сидел смиренно. Но они сразу определили мою вину. От этого стало жутковато. Я вспомнил какие-то романы и фильмы, в которых нормальный человек оказывался среди вполне нормальных с виду людей, но постепенно выяснялось, что все вокруг либо члены какой-то секты, либо заражены вирусом, либо инопланетяне.

Тогда я ещё внимательнее, чем прежде, стал вглядываться в лица людей, неотрывно смотрящих на сцену. Я прям-таки всверлился в них глазами и не сразу, но на многих лицах увидел ранее не замеченное. Я увидел терпение. Люди терпели происходящее. В основном терпели мужчины или те, кто был помоложе.

Те, на чьих лицах я прочёл терпение, терпели по-разному. Кто-то терпел, искренне стараясь вникнуть и полюбить то, что творилось на сцене, кто-то изображал интерес, чтобы не разочаровать спутницу или спутника, кто-то тихонечко, как и я, ползал глазами по зрительному залу, рассматривал балконы или световое оборудование над сценой. Были и те, чьи неподвижные и неживые глаза указывали на то, что люди ушли в анабиоз, подобный тому, в какой уходил я. Однако на всех лицах терпящих театр людей я не увидел сомнений, тревог, неверия или возмущения. Люди терпели безропотно и стойко.

Я отчётливо понял, что в зале находится довольно много людей, которым плохо, но они не могут решиться на то, чтобы



признаться в этом тем, кто их в театр привёл. В этих людях, думалось мне, слишком сильно сидит почтение к самому слову «театр». Они, наверное, считают театр чем-то непостижимым, как я считал непостижимыми балет и оперу. Они пытаются найти ускользающие и глубокие смыслы в творимой на сцене бессмыслице и винят себя, что не находят таковых. Они, скорее всего, решили, что театр, как и вся сложная культура в целом, требует, чтобы нужно было иногда вот так потерпеть и помучиться, а потом с чистой душой пойти на комедию в кино или послушать в ресторане ансамбль под водочку, да ещё и сплясать.

Терпящие театр люди как бы зарабатывали себе... Как бы вымаливали право на бескультурие до следующего похода на спектакль.

Я увидел это и ещё сильнее углубился в непонимание: «Зачем? Зачем? Зачем?»

По окончании первого акта публика долго аплодировала уже закрытому занавесу. Потом все потянулись в фойе или буфет, надев маски театральной торжественности и печали. Я некоторое время посидел на месте в практически пустом зале. Мне захотелось осмотреть его без людей. Ярусы балконов, лепнина, огромная люстра, летнее небо, нарисованное на потолке, тяжёлый занавес на сцене, плюш сидений. Всё было красиво и чисто, светло и блестяще. Мне понравилось в этом зале без людей. Всё было хорошо сделано. Во всём была видна традиция, солидность, чувствовалось наследие великого Рима и неких дворцов прошлых роскошных эпох. Как же это не вязалось с той бессмысленной суетой и всем тем, плохо сшитым, приклеенным, приколоченным и отвратительно покрашенным, то есть с тем, что творилось и громоздилось на сцене, которую закрыли занавесом.

Я вышел в фойе, потом пошёл в буфет, встал там в очередь. Люди стояли за высокими столиками и в очереди серьёзные.

Вдруг я вспомнил, как в детском саду на новогоднем утреннике я увидел у Деда Мороза на ногах ботинки. Шуба его была почти до пола, но не совсем. Ботинки в моём понимании Дед Мороз носить не мог. Чудесные валенки — вот что должно было быть под шубой. От ботинок я перевёл внимательный взгляд на бороду, увидел резинку, уходящую под шапку. Пелена с моих глаз слетела, и я с ужасом узрел грубо намазанные на щёки и нос румяна. Тогда уже незамутнённым взглядом я посмотрел на Снегурочку и узнал воспитательницу младшей группы. Открытие было грандиозное и ужасное. Ошарашенный, я огляделся по сторонам и обнаружил, что никто из детей не видит открывшегося мне, а взрослые хитрят. Я сразу захотел разоблачить страшный обман, но просто заплакал.

Стоя в буфете, глядя на людей, я увидел полное повторение той ситуации, но мне стало весело. Дождавшись своей очереди, я взял стакан очень густого, сладкого кофе с молоком и пирожное. Это было так вкусно, так приятно и радостно, что, когда все потянулись в зал, я продолжал смаковать каждый кусочек и глоток. Некоторое время я оставался в буфете один. И в буфете мне тоже понравилось одному. Колонны, прозрачные занавески на окне, огни города за окном, вкусный сдобный запах, перемешанный с кофейным.

Когда бабушка в униформе грозно приказала мне немедленно идти в зал на место, я уже знал, что не пойду туда. Я решил, что имею полное право и свободу уйти. Я пришёл по своей воле, без учителей, и могу по своей воле уйти. Мне так это понравилось, что, спускаясь в гардероб за одеждой, я, видимо, улыбался.

В гардеробе было безлюдно и тихо. Мне пришлось сначала громко покашлять, а потом позвать работниц. Из-за одежды вышли три пожилые женщины и молча воззрились на меня, недоумевая, что мне нужно. Тогда я достал тот самый злополучный номерок. Они, очевидно, удивились.